

В. П. Авенариус

Лепестки и листья

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
В11

В11 **В. П. Авенариус**
Лепестки и листья / В. П. Авенариус – М.: Книга по Требованию, 2021. –
314 с.

ISBN 978-5-517-96857-9

Рассказы, очерки, афоризмы и загадки для юношества

ISBN 978-5-517-96857-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Пущинъ въ селѣ Михайловскомъ.

Страница изъ жизни Пушкина.

„...Поэта домъ печальный,
„О, Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ;
„Ты усладилъ изгнанья день печальный,
„Ты въ день его лица превратилъ“.

«19 октября 1825 г.».

I.

БЫЛО то въ первой половинѣ января 1825 года. Въ селѣ Тригорскомъ (Опочецкаго уѣзда, Псковской губерніи), въ домъ вдовы-помѣщицы Прасковьи Александровны Осиповой (урожденной Вымдонской, по первому мужу — Вульфъ) вечерній самоваръ былъ только что убранъ изъ столовой, и хозяйка съ тремя дочерьми и единственнымъ

гостемъ перешли въ гостиную. На небольшомъ овальномъ столѣ передъ угловымъ диванчикомъ горѣла уже лампа подъ зеленымъ абажуромъ. Сама Прасковья Александровна расположилась на своемъ предсѣдательскомъ мѣстѣ, посрединѣ диванчика и принялась раскладывать гранпасьянсъ. Старшая дочь (отъ перваго брака) Анна Николаевна Вульфъ подсѣла къ матери, чтобы лучше слѣдить за раскладкой картъ и въ затруднительныхъ случаяхъ помогать совѣтомъ. Сестра ея, Евпраксія Николаевна, а между своими — Зина или Зизи, — предпочла отдѣльное кресло, чтобы заняться какимъ-то вышиваньемъ. Младшая же сестра (отъ второго брака), подросточекъ Машенька, прикорнула на скамеечкѣ у ногъ Евпраксіи Николаевны и, положивъ растрепанную головку съ косичками къ ней на колѣни, не отрывала глазъ отъ молодого гостя, въ ожиданіи, что то онъ опять состритъ или расскажетъ, чтобы посмѣяться.

Гость этотъ былъ ближайшій сосѣдъ ихъ, Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, навѣщавшій ихъ чуть ли не каждый день изъ своего сельца Михайловскаго. Но оживленное настроеніе уже оставило Пушкина: онъ сидѣлъ съ понурою головой въ какомъ-то грустномъ раздумьи.

— У васъ, Александръ Сергѣевичъ, вѣрно, опять стихи на умѣ?—спросила дѣвочка.

Пушкинъ очнулся и провелъ рукой по глазамъ.

— Стихи? — повторилъ онъ. — Нѣтъ... Такъ что-то...

Онъ взглянулъ на каминные часы и быстро приподнялся:

— Пора.

Всѣ четыре хозяйки заговорили разомъ:

-- Да куда же вы, Александръ Сергѣевичъ? Вѣдь, совсѣмъ еще рано: всего девять. Посидите!

— Меня что-то тянетъ домой..

— А я знаю что!—объявила Машенька:—вамъ надо поскорѣй-поскорѣй записать хорошенькую риѣму, пока не улетѣла.

— Нѣтъ, у меня какое-то внутреннее безпокойство, — серьезно отвѣчалъ Пушкинъ, — точно предчувствіе...

— Вѣчно у васъ эти предчувствія и примѣты!— замѣтила Евпраксія Николаевна,—а до сихъ поръ ничего еще не сбылось.

— Кое-что уже сбылось.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, предсказаніе старухи-ворожеи Кирхгофъ въ Петербургѣ: „Du wirst zwei Mal verbannt sein“ *), и вотъ я второй разъ въ ссылкѣ.

— Тѣмъ лучше: въ третій разъ, стало-быть, ни за что уже не сошлютъ. Живите себѣ и пользуйтесь жизнью.

— Да, 12 лѣтъ еще впереди.

— Почему же именно 12?

— Потому что та же Кирхгофъ предрекла мнѣ смерть, когда мнѣ минетъ 37.

— Что за пустяки! — прервала его тутъ Пра-

*) Ты будешь два раза сосланъ.

сковья Александровна.— Сыграй-ка ему, Зина, на фортепiano что-нибудь веселенькое, чтобы разогнать его мрачныя мысли.

— А я знаю, чѣмъ его удержать!—подхватила Машенька и захлопала въ ладоши.

— Чѣмъ?

— Да мочеными яблоками!

— Вотъ это такъ, вѣрнѣе нѣтъ средства, — улыбнулась мать. — Бѣги же, милочка, неси скорѣй, пока Акулина Памфиловна еще не улеглась.

Дѣвочка вихремъ умчалась къ старухѣ - ключницѣ. Но затосковавшаго поэта даже перспектива любимаго его деревенскаго лакомства на этотъ разъ не прельстила. Онъ взялъ шапку и окончательно распростился. Дамы пошли, однако, провожать его еще до передней. Только что слуга подалъ ему шубу, какъ влетѣла Машенька съ полнымъ салатникомъ моченыхъ яблокъ.

— И послѣ этого будь любезной съ гостемъ! Я едва-едва вырвала ключи отъ кладовой у нашей старой ворчуньи, а онъ удираетъ! Нѣтъ, сударь мой, извольте теперь кушать!

Доставъ изъ салатника ложкой одно яблоко покрупнѣе, она поднесла его къ губамъ молодого гостя. Тому ничего не оставалось, какъ раскрыть ротъ пошире.

— Да ты сахаромъ-то не забыла посыпать?—спросила одна изъ сестеръ.

— Еще бы забыть для такого сластены! Развѣ не сладко?—отнеслась дѣвочка къ Пушкину.

У того ротъ былъ еще такъ полонъ, что онъ въ отвѣтъ могъ только промычать: „мгмъ!“ и кивнуть утвердительно головой.

— Жуете, жуете, какъ беззубый старикъ! — подтрунила надъ нимъ Машенька.—Развѣ угостить васъ еще сокомъ? Ну-съ, раскройте-ка ротикъ.

Онъ опять безпрекословно исполнилъ требованіе; но угощеніе послѣдовало съ такою стремительностью, что едва половина попала по назначенію; остальное же брызнуло ему за галстухъ и на шубу.

Это такъ разсмѣшило шалунью, что она съ звонкимъ хохотомъ запрыгала козой; вмѣстѣ съ нею запрыгали косички у нея на затылкѣ, запрыгали и яблоки въ салатникѣ, и штуки двѣ-три покатались на полъ, а за ними плеснула еще струя соку.

Мать и старшія сестры только ахнули и разступились, чтобы спасти свои платья; вслѣдъ затѣмъ всѣ разомъ разсмѣялись, такъ же какъ и Пушкинъ.

— Экая, вѣдь, егоза! — говорила Прасковья Александровна. — Дай-ка сюда салатникъ, а то и его, пожалуй, уронишь.

Освободившись отъ салатника, Машенька принялась собственнымъ платкомъ усердно обтирать забрызганную шубу гостя.

— Да вы стойте, пожалуйста, смирно! Не отряхайте, какъ пудель. Ну, вотъ и сухи. Въ благодарность, вы должны написать мнѣ тоже что-нибудь въ альбомъ.

— Про пуделя?

— Да, про пуделя, т.-е. про себя. Напишете?

— Вотъ увидимъ.

— Неблагодарный!

— Облили человѣка вкуснѣйшимъ сокомъ, а онъ даже оцѣнить не хочетъ. Самая черная неблагодарность! До свиданья, mesdames...

— До свиданья, Александръ Сергѣевичъ! Завтра опять увидимся?

— Если чего не будетъ...

— Опять вы съ вашими предчувствіями!

— Что дѣлать! Во всякомъ случаѣ, не поминайте лихомъ.

II.

Свои прогулки изъ Михайловскаго въ Тригорское, куда не было и трехъ верстъ, въ лѣтнее время Пушкинъ совершалъ либо верхомъ, либо пѣшкомъ, — въ послѣднемъ случаѣ — подпираясь толстою палкой, и въ сопровожденіи большой дворовой собаки. Зимой же, когда пролежавшая то лѣсомъ, то полями и открытая здѣсь вѣтрамъ дорога была занесена сугробами снѣга, ему, обыкновенно, запрягали легкія сани. Такъ было и на этотъ разъ.

Луна была на ущербѣ и еще не всходила. Благодаря, однако, разстилавшейся кругомъ снѣжной скатерти, общія очертанія окружающей мѣстности можно было различать.

Что за безлюдье, что за тишина! Словно весь міръ вымеръ и накрылся саваномъ... Пушкина еще сильнѣе охватило безотчетное уныніе.

„Не то же ли и со мной?—говорилъ онъ себѣ.—
Всю прошлую жизнь со всѣми ея тревоженьями
тоже снѣгомъ занесло. Кому въ цѣломъ мірѣ ка-
кое теперъ дѣло до меня? Кому я нуженъ, кромѣ
развѣ моей доброй няни, которая сама въ гробѣ
глядитъ?“

Тутъ изъ бѣлаго полусумрака возстали передъ
нимъ около самой дороги три знакомыя сосны. Но
въ своихъ нахлобученныхъ бѣлыхъ шапкахъ онѣ
представлялись ему облещенными, застывшими
навѣки, исполинскими муміями; а одна изъ нихъ
вверху раздвоилась, — ни дать, ни взять, громад-
ная безструнная лира.

„На моей лирѣ струны еще не порваны, — ду-
малось Пушкину,—но для кого я бренчу въ моей
снѣжной пустынѣ? Самъ себя только тѣшу!“

И вездѣ-то та же мертвая тишь, снѣгъ на
всемъ, — и въ рощѣ, на деревянной часовенкѣ, и
за рощей, на избахъ крестьянскихъ: все гробы да
гробы! А вотъ и свой домикъ—свой гробъ...

Няня, Арина Родіоновна, очевидно, поджидала
своего барина-питомца. Какъ только онъ изъ сѣ-
ней ступилъ въ корридоръ, куда выходили, одна
противъ другой, двери къ нему и къ ней, — ста-
рушка показала на своемъ порогѣ съ зажженною
свѣчой въ рукѣ:

— Чтой-й-то, батюшка мой, больно рано вер-
нулся? Аль неможется?

— Нѣтъ, ничего... — отвѣчалъ Пушкинъ, сни-
мая шубу и вѣшая на гвоздь. (Онъ разъ навсегда
запретилъ слабосильной старушкѣ помогать ему

при этомъ.)—А что, няня, безъ меня тутъ ничего не случилось?

— Чему еще случиться?—точно даже испугалась она и осѣнила себя крестомъ.—Господь насъ помилуй!

— И не заѣзжалъ никто?

— Ни души человѣческой.

— Странно!

— Чего тутъ страннаго, коли и такъ по недѣлямъ никто-то къ тебѣ носу не покажетъ. Бѣдный ты у меня, сиротинушка!

Пушкинъ поморщился:

— Оставь это, Родіоновна! Не люблю я твоихъ соболѣзнованій, сама знаешь. Я долей своей очень даже доволенъ.

— А доволенъ, такъ и слава Богу. Да не заварить ли тебѣ малиноваго чаю съ липовымъ цвѣтомъ?

Пушкинъ слабо усмѣхнулся.

— Я же вовсе не простуженъ!

— Такъ ли, миленькій мой? Ну, такъ ложись хоть сейчасъ, да хорошенько прикройся. Не пиши на ночь, сдѣлай мнѣ такую милость! Завтра поспѣешь.

— Хорошо, хорошо. Доброй ночи, няня!

— Дай вотъ только свѣчу тебѣ тоже зажгу... Вотъ такъ. Храни тебя Христось и Ангелъ твой!

Съ наступленіемъ холодовъ поэтъ нашъ довольствовался одной небольшою комнатою, выходившею окномъ на дворъ и служившею ему одновременно спальнею, кабинетомъ и столовой. Была

тутъ и кровать съ пологомъ, былъ письменный столъ, книжный шкафъ и диванъ,—чего же болѣе?

Не взглянувъ даже на свои разбросанныя на письменномъ столѣ писанья, онъ началъ раздѣваться. Улегшись, онъ точно такъ же не сталъ, по обыкновенію, читать на сонъ грядущій, хотя книжка съ закладкой лежала тутъ же на ночномъ столикѣ, а тотчасъ погасилъ свѣчу.

Но сна не было. Кругомъ—полная ночная темь, ночная тишина; только стѣнные часы черезъ корридоръ изъ комнаты няни въ урочное время отбиваютъ 10, 11, 12 разъ какимъ-то похороннымъ боемъ, да вѣтеръ въ трубѣ по временамъ жалобно завываетъ, какъ полуночныя тѣни на погостѣ. Никогда еще, кажется, опальный поэтъ не чувствовалъ въ такой мѣрѣ свою оторванность отъ цѣлаго свѣта.

„Одинъ, одинъ! Тригорскія сосѣдки—премилая, предобрая существа, спору нѣтъ, а все-таки для тебя чужія. Няня, пожалуй, любитъ тебя, какъ родное дѣтище; но у нея главная, чуть ли не единственная забота: чтобы ты былъ здоровъ, чтобы тебѣ ѣлось и спалось вволю. Подѣлиться же своими сокровенными планами, своими задушевными мыслями—рѣшительно не съ кѣмъ. То ли дѣло было въ лицеѣ, въ незабвенномъ Царскомъ Селѣ! Товарищей—тридцать человѣкъ, друзей—полдюжины, а одинъ другъ, первый другъ,—всегда около тебя, и днемъ и ночью. Двери, вѣдь, рядомъ: на правой дощечка съ надписью: „№ 13. Иванъ Пущинъ“; на лѣвой: „№ 14. Але-

ксандръ Пушкинъ“. И кровати даже около той же тонкой стѣнки. Обидѣлъ ли тебя кто до слезъ, просто ли неумогу възгрустнется,—Пущинъ чуткимъ ухомъ уже услышалъ, стучится въ стѣнку:— „Что съ тобой, Пушкинъ?“ И выскажешь ему все, какъ на исповѣди, облегчишь наболѣвшую душу. Съ тѣхъ поръ, правда, наши дороги разошлись; сколько лѣтъ не видались, даже не переписывались. Но первая дружба никогда не заглохнетъ. Гдѣ ты, Пущинъ? Вспоминаешь ли еще иногда своего стараго друга?“

Хорошо, что темно: передъ самимъ собой хотъ не такъ стыдно утереть глаза... А ночь, безразсвѣтная ночь тянется, тянется безъ конца!

Уже подъ утро изнывшій поэтъ забылся тревожнымъ сномъ.

Вдругъ точно электрическая искра пробѣжала по его членамъ, и онъ разомъ пришелъ въ себя.

„Что это? Почтовый колокольчикъ? Кого это въ такую рань принесло? Экъ ихъ, однако! Совсѣмъ шальные: вломились въ закрытыя ворота, и колокольчикъ гремитъ ужъ у крыльца...“

Пушкинъ вскочилъ съ постели и кинулся къ окну. Такъ и есть: ворота настежь; а передъ крыльцомъ — тройка, вся въ мыль; парь съ нея столбомъ. На облучкѣ же — не ямщикъ, нѣтъ, а какой-то слуга, который, крѣпко натянувъ вожжи, тпрукаетъ на разгоряченныхъ коней.

„Господи! Да, вѣдь, это, никакъ, Алексѣй, чеповѣкъ Пущина! Можетъ ли быть?“